ЮЖНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Второй листъ

КЪ № 2364 Четвергъ, 25-го декабря 1903 года. КЪ № 2364

Разсказъ собаки.

Съ англійскаго]
[*Марка Твена.*

I.

Отецъ мой былъ сенъ-бернаромъ, мать моя овчарка, но я не похожа ни на отца ни на мать. По крайней мѣрѣ моя мать говорила это всѣмъ. Сама я никогда не понимала всѣхъ этихъ тонкостей. Для меня всѣ эти, названія не болѣе не менѣе какъ благозвучныя красивыя слова и больше ничего. Моя мать ужасно любила говорить высокопарнымъ слогомъ. Ей доставляло удовольствіе произносить непонятныя, громкія слова и наблюдать какое они производятъ впечатлѣніе на окружающихъ собакъ; ни одна изъ ея знакомыхъ не могла понять, откуда она почерпнула такія знанія, и удивлялась ея образованности. Но это не было настоящее образованіе. Мать просто пускала собакамъ пыль въ глаза! она нахваталась всѣхъ этихъ мудрыхъ словъ, въ гостинной, въ столовой, когда бывали гости, и въ воскресной школѣ, куда она ходила съ дѣтьми; когда ей случалось слышать какое нибудь неизвѣстное слово, она повторяла его безконечное число разъ, пока не запомнитъ его. Тогда при первомъ случаѣ, когда бывали собачьи собранія, она щеголяла новымъ словомъ, и приводила всѣхъ собакъ въ трепетъ, начиная отъ крошечной болонки и кончая громаднымъ догомъ. Если при этомъ присутствовала посторонняя собака, она относилась недовѣрчиво къ такимъ мудрымъ словамъ матери и позволяла себѣ спросить значеніе такого, неизвѣстнаго никому, слова. Но мать не смущалась и всегда умѣла дать должное объясненіе. Незнакомая собака была поражена! она этого не ожидала и разсчитывала, что моя мать попадетъ впросакъ. Но мать мою никто поймать не могъ! она была замѣчательно ловкая собака! Получивъ объясненіе, незнакомая собака страшно конфузилась и опускала хвостъ. За то, всѣ пріятели матери радовались и гордились ею; незнакомецъ внушалъ имъ въ такія минуты глубокое презрѣніе; они то хорошо знали мою мать! знали, что она за словомъ въ карманъ не полѣзетъ! Когда она объясняла значеніе какого-нибудь мудраго слова, всѣ собаки съ удивленіемъ смотрѣли ей въ ротъ, имъ не приходило въ голову подумать, вѣрно ли объясненіе или нѣтъ! во первыхъ, она говорила такъ быстро, съ такой самоувѣренностью, точно читала въ лексиконѣ, а во вторыхъ, она была единственной образованной собакой, никто не могъ провѣрить ея словъ! Когда я подросла, она, гдѣ-то, захватила слово „неинтеллигентный" и торжественно выкладывала его впродолженіе цѣлой недѣли на разныхъ собраніяхъ, смущая всѣхъ присутствующихъ и даже пугая ихъ. Я констатировала, что она на восьми собраніяхъ давала восемь разныхъ объясненій и все съ такой же быстротой и самоувѣренностью! я, тогда же, сообразила, что она не такъ образована, какъ это воображали простодушные ея пріятели и пріятельницы но, что она ловкая и умѣетъ бросать пыль въ глаза и показать товаръ лицомъ! Конечно, я ни съ кѣмъ не подѣлилась своимъ открытіемъ!

У нея въ запасѣ было слово, къ которому она прибѣгала въ тяжелую минуту, когда чувствовала, что довѣріе слушателей пошатнулось. Оно выручало ее не разъ изъ бѣды. Когда она повторяла по ошибкѣ одно и то же слово и приводила нѣкоторыхъ скептиковъ въ недоумѣніе, которое напоминало ей, что она придавала этому слову совсѣмъ иное значеніе, она заявляла имъ торжественно: да, да; это слово синонимъ тому, которое я упоминала на прошлой недѣлѣ: слово „неинтеллигентный" синонимно слову умопомраченіе! и всѣ съ восторгомъ смотрѣли на геніальную собаку, виляя хвостомъ, а скептикъ, опустивъ хвостъ и уши, удалялся сопровождаемый недоброжелательными взглядами друзей моей матери.

А она! нужно было видѣть, какъ она гордо смотрѣла на всѣхъ, оскаблялся зубы.

Но мать моя не ограничивалась заучиваніемъ отдѣльныхъ словъ; когда ей приходилось услышать какую нибудь громкую фразу, она приходила домой и, забившись въ уголъ, твердила ее до тѣхъ поръ, пока не могла свободно и быстро сказать ее.

Я помню, какъ то, она такой фразой угощала своихъ друзей на шести вечерахъ и двухъ митингахъ за одну недѣлю! она не ломала себѣ голову, чтобы понять смыслъ фразъ, которыя употребляла, нѣтъ! до этого ни ей, ни другимъ собакамъ дѣлъ не было! Лишь бы фраза громко звучала! Она была увѣрена въ невѣжествѣ своихъ слушателей!

Иногда она тоже запоминала анекдоты, которые за обѣдомъ разсказывали ея хозяева и ихъ друзья; затѣмъ при случаѣ она повторяла ихъ на собачьихъ вечеринкахъ, но сама чувствовала, что, очевидно, не такъ ихъ передавала; чтобы не терять престижа, она сама начинала громко хохотать, катаясь по полу, собаки-пріятельницы, смотря на нее, тоже катались по полу и хохотали, не рѣшаясь спросить ее, что было смѣшного въ ея разсказѣ, всякому стыдно было показать, что онъ чего нибудь не понимаетъ.

По всему, что я вамъ разсказала вы поймете, что мать моя была крайне здеславная собака, и ужасно любила производить сенсацію, но за то у нея были такія достоинства, которыя сторицею искупали ея недостатки. У нея было доброе сердце, ласковое обращеніе со всѣми, никогда она не мстила за оскорбленія, напе-

Національна бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

сенные ей! Напротивъ она старалась забыть какъ можно скорѣй и платить добромъ за зло; она старалась проводить свои теоріи въ жизнь, учила своихъ дѣтей быть ласковыми и добрыми; отъ нея, мы, тоже, выучились быть храбрыми и, во время опасности, не убѣгать, покидая друзей въ тяжелую минуту. Нужно отдать ей справедливость, она всему этому учила насъ не словомъ, а дѣломъ, она сама всегда показывала намъ примѣръ храбрости и благородства, всегда она была вѣрна своимъ обязанностямъ и стояла какъ солдатъ на посту, никогда я не слышала, чтобы она хвастала своей храбростью и преданностью! глядя на нее всякая собака невольно восхищалась ею и подражала ей. Даже гордые Кингъ-Чарльсы и тѣ относились къ ней съ уваженіемъ.

II.

Когда я выросла и стала совсѣмъ большой, меня продали людямъ, которые увезли меня и я ужъ больше никогда не видѣла моей матери.

Разлука наша разбила сердце и мнѣ и ей, мы горько плакали! Но она старалась утѣшить меня, говоря, что мы являемся на этотъ свѣтъ не на радость, а для того, чтобы исполнить нашу обязанность, жертвовать собой для другихъ и не ожидать награды ни отъ кого.

Люди, которые поступаютъ такимъ образомъ, говорила она, получаютъ награду за свою преданность и благородство въ другомъ мірѣ, куда они отпрдвляются послѣ смерти, но мы, животныя, туда не попадаемъ, мы должны довольствоваться сознаніемъ, что исполнили свой долгъ!

Мать моя пріобрѣла всѣ эти знанія въ воскресной школѣ, когда ожидала дѣтей, сидя смирно въ углу и запомнила ихъ лучше, громкихъ словъ, которыми любила, и при случаѣ похвастать! Поэтому можно судить, что у нея была умная сообразительная голова, не смотря на ея легкомысліе и желаніе похвастать передъ пріятелями.

Итакъ, мы разстались и долго, долго смотрѣли, сквозь слезы, другъ на друга!

Ея послѣднія слова запечатлѣлись навсегда въ моей душѣ.

Когда кому нибудь будетъ грозить опасность, сказала она, не думай о себѣ, вспомни о своей матери и поступи также, какъ бы она поступила!

Я этихъ словъ никогда не забывала!

III.

Въ какой прелестный домъ я попала! У насъ была громадная, чудная квартира, роскошно убранная; стѣны были украшены картинами въ блестящихъ рамахъ, вездѣ стояли высокія растенія. Солнце освѣщало комнаты, гдѣ все было свѣтло и привѣтливо; а вокругъ дома былъ большой цвѣтникъ, а за цвѣтникомъ большой садъ, съ громадными деревьями, тѣнистыми аллеями. Меня положительно считали членомъ семьи! Всѣ меня любили, всѣ меня ласкали, всѣ возились со мной! Я даже сохранила поэтичное имя Альенъ Мавурненъ, данное мнѣ матерью, боясь огорчить меня. Моей хозяйкѣ миссисъ Грей было тридцать лѣтъ, трудно себѣ представить, до какой степени она была добра и мила! ея десятилѣтняя дочь, Сади, была страшно похожа на миссисъ Грей, это была миленькая, очаровательная копія своей матери съ каштановыми хвостами, висѣвшими вдоль спины, въ короткихъ юбочкахъ, она порхала цѣлый день какъ птичка! Годовалый Бэби былъ кругленькій, розовый мальчикъ, съ ямочками на щечкахъ; меня онъ особенно любилъ! бывало, какъ поймаетъ меня за хвостъ, бѣда! дергаетъ меня, затѣмъ, уцѣпится двумя рученками за мою шерсть визжитъ отъ восторга! Мистеру Грею было тридцать восемь лѣтъ; высокій, красивый, худой, немножко лысый, онъ былъ замѣчательно энергичный и подвижной человѣкъ. Его нельзя было назвать сентиментальнымъ; стальные глаза окидывали всѣхъ холоднымъ, равнодушнымъ взглядомъ, ко всему онъ относился довольно безучастно и всѣ немного побаивались его, онъ былъ извѣстенъ въ ученомъ мірѣ. Я не знаю, что это значитъ, но моя мать навѣрное сумѣла бы объяснить своимъ пріятелямъ значеніе этого слова. У насъ въ домѣ было другое сл[illegible] которое употреблялось на каж[illegible] шагу—*лабораторія*; это не была ни книга, ни картинка, ни мебель, нѣтъ! лабораторіей, называли комнату, уставленную самыми разнообразными пробирками, бутылочками, печками, какими то непонятными машинами; каждую недѣлю собиралось много ученыхъ въ эту лабораторію; они сидѣли тамъ очень долго, трогали всѣ машины, спорили и дѣлали опыты и открытія (эти два слова я хорошо запомнила), Очень часто я забѣгала въ это странное мѣсто, усѣвшись гдѣ нибудь въ углу, гдѣ не было бутылокъ и машинъ, прислушивалась къ ихъ разговорамъ и старалась чему нибудь научиться! мнѣ хотѣлось въ память моей любимой матери сдѣлаться образованной собакой, но это мнѣ совсѣмъ не удавалось;я не была способна къ умственному труду.

Я страшно скучала и, опустивъ голову, уходила изъ ученой комнаты.

За то, въ комнатѣ моей барыни я всегда чувствовала себя счастливой и довольной, я ложилась около нея и засыпала, а она ставила на меня свои ножки и глядя на меня весело улыбалась; посидѣвъ съ своей хозяйкой, я отправлялась въ дѣтскую и затѣвала игру съ Сади, которая разговаривала со мной, какъ съ пріятельницей; затѣмъ ужъ наносила визитъ въ комнату Бэби, и, часами, смотрѣла на моего спящаго любимца; когда нянька уходила изъ комнаты, она всегда поручала мнѣ Бэби и требовала, чтобы я его караулила. Но моя старшая пріятельница Сади скучала безъ меня и уводила меня въ садъ, гдѣ мы бѣгали по аллеямъ до упаду; утомившись, она садилась на скамейку съ книгой въ рукѣ, а я съ наслажденьемъ каталась по зеленой травкѣ...

Иногда я покидала свою дѣвочку и отправлялась къ сосѣднимъ собакамъ въ гости. Съ нѣкоторыми изъ нихъ я была очень дружна и любила бесѣдовать съ ними, между прочимъ, у меня былъ большой пріятель, сетеръ нашего пастора, Робинъ Адэръ.

Всѣ прислуги нашего дома любили и баловали меня; въ общемъ, какъ видите, мнѣ жилось хорошо на свѣтѣ не было болѣе счастливой и благодарной собаки, чѣмъ я. Такъ какъ я пишу свой дневникъ, то я могу откровенно сказать, что я съ своей стороны старалась быть благородной и честной собакой, какъ меня учила мать и пыталась заслужить довѣріе и любовь моихъ хозяевъ и друзей.

Къ довершенію всего я стала счастливой матерью! у меня родился маленькій ребеночекъ. Чаша моего счастья переполнилась черезъ край.

Мой щеночекъ былъ самый очаровательный младенецъ на свѣтѣ! Крупный, съ мягкой пушистой шерстью. У него были смѣшныя, маленькія лапки, довѣрчивые, чудные глазки и добрая, ласковая мордочка. Меня трогала до глубины души любовь моихъ хозяевъ къ моему щеночку. Они ласкали его, возились съ нимъ и восхищались каждымъ его движеніемъ; все, что щеночекъ мой дѣлалъ, казалось необыкновеннымъ и матери, и дѣтямъ, одинъ только мистеръ Грей не замѣчалъ его.

Жизнь казалась мнѣ слишкомъ хорошей!

Наступила зима. Какъ то, разъ, я сидѣла въ дѣтской и караулила Бэби, т. е. я спала на кровати няньки, рядомъ съ люлькой ребенка, которая находилась около камина. Надъ люлькой висѣла занавѣсь изъ тонкаго прозрачнаго газа. Искра съ камина упала на землю и зажгла конецъ газовой занавѣски. Крикъ ребенка разбудилъ меня, занавѣска горѣла и пламя подымалось до потолка. Первымъ моимъ движеніемъ было спрыгнуть съ кровати и направиться къ двери; но на полдорогѣ я остановилась... Мнѣ припомнились слова матери и я вернулась къ кроваткѣ. Среди пламени слышенъ былъ плачъ ребенка, я схватила его зубами за лифчикъ и потащила его, но по дорогѣ споткнулась, мы оба упали на полъ и очутились въ облакѣ дыма; не теряя ни минуты, я снова поднялась на ноги, поспѣшила къ двери и потащила несчастнаго, плачущаго ребенка по корридору; не замѣчая усталости я тянула его за собой, сердце мое наполнилось радостью, я гордилась тѣмъ, что спасла ребенка отъ гибели! Вдругъ раздался голосъ моего хозяина:

— Вотъ проклятое животное! Я бросила ребенка и побѣжала, что есть силъ, но онъ былъ очень ловокъ и пустился бѣжать за мной съ палкой въ рукахъ, размахивая ею во всѣ стороны; я старалась скрыться отъ него, но онъ размахнулся и попалъ мнѣ палкой по лѣвой лапѣ, я съ крикомъ повалилась... палка снова поднялась на меня, но не успѣла опуститься; въ это время раздался вопль няньки: дѣтская въ огнѣ! хозяинъ забывъ обо мнѣ, кинулся въ дѣтскую и мои кости были спасены на этотъ разъ.

Я испытывала страшную боль въ лѣвой ногѣ, но времени нельзя было терять, хозяинъ могъ снова кинуться съ палкой за мной! Я убѣжала, хромая, на трехъ ногахъ до самаго дальняго угла передней, гдѣ была маленькая лѣсенка, ведущая въ кладовочку, куда прятали ненужный хламъ. Я съ трудомъ пробралась въ темный чуланчикъ и спряталась за ворохомъ какихъ то вещей. Мнѣ и въ этомъ темномъ уголкѣ было страшно; я боялась завыть, хотя для меня это было бы большимъ облегченіемъ.

Впродолженіе получаса внизу слышался шумъ, бѣготня, затѣмъ все затихло.

Но тишина продолжалась не болѣе пяти минутъ—у меня сердце захолодѣло; весь домъ былъ снова на ногахъ, всѣ искали меня, всѣ звали меня...

Вездѣ раздавались голоса, и въ комнатахъ и въ корридорахъ и въ буфетной... въ передней, и, наконецъ во дворѣ, я дрожала всѣмъ тѣломъ и, притаивъ дыханіе, забилась въ самый дальній уголъ. Я думала, что они никогда не успокоятся, никогда не перестанутъ звать, но, постепенно, все стихло и я вздохнула свободно.

Надо было обдумать планъ побѣга.

Я рѣшила, когда станетъ свѣтать, добраться тихонько къ черному двору и, когда человѣкъ привезетъ ледъ, проскользнуть съ нимъ въ калитку, а тамъ ужъ бѣжать, куда глаза глядятъ, подальше отъ моего злого хозяина.

Да! но какъ-же я буду жить безъ щеночка?

Я пришла въ отчаяніе! Спасенія не было для меня, я это ясно поняла! Жить безъ своего щеночка я не могла, надо было, значитъ, оставаться. Моя мать была права, жизнь не праздникъ! приходится страдать... Когда стало свѣтло, снова раздались крики, снова меня искали по всему дому и въ саду! время тянулось страшно долго, мнѣ казалось, что меня ищутъ давно... голодъ и жажда мучили меня... Я страшно ослабѣла; сонъ одолѣвалъ меня, я заснула и вдругъ, о, ужасъ! мнѣ показалось, что я слышу шаги въ моемъ чуланчикѣ. И дѣйствительно, Сади стояла въ комнатѣ и плакала, призывая меня... Я не могла вѣрить своимъ ушамъ.

— Вернись къ намъ, моя собачка, о, вернись и прости намъ, намъ такъ скучно безъ нашей...

Я не выдержала и съ воплемъ кинулась къ милой Сади; черезъ минуту она побѣжала въ корридоръ и громко кричала: собачка нашлась! Собачка нашлась! Наша Альенъ жива!

Послѣ нашего примиренія мнѣ жилось удивительно хорошо! Мать, Сади, слуги, боготворили меня! Всѣ наперерывъ старались уложить меня на мягкой кроваткѣ, угощали меня вкусными кусочками.

Каждый день приходили сосѣди любоваться на меня и восхищаться моимъ героизмомъ! (что значило это слово не могу объяснить); помню, что мать часто говаривала, что оно синонимно со словомъ *земледѣліе*, *горѣніе* и еще многими другими, которыхъ я не помню.

Миссисъ Грей и Сади разсказывали всѣмъ, кто приходилъ, какъ я спасла жизнь Бэби, какъ на мнѣ и на ребенкѣ были видны обжоги до сихъ поръ. Тогда всѣ брали меня на руки, ласкали, трепали, цѣловали меня, повторяя все то же мудрое слово *героизмъ*.

А когда гости начинали допрашивать, почему я хромаю и мать, и дочь опускали глаза и молчали...

Но это еще не все! Ученые друзья хозяина собирались нѣсколько разъ въ лабораторія и бесѣдовали обо мнѣ; меня призывали, осматривали говорн: это удивительно, чтобы у животнаго былъ такъ развитъ инстинктъ! Тогда хозяинъ хлопалъ со всей силы рукой объ столъ и кричалъ:—Инстинктъ? Это не инстинктъ, это умъ! понимаете ли, умъ! Развѣ она не умнѣе меня? Вѣдь я считаю себя образованнымъ, интеллигентнымъ человѣкомъ? А что я сдѣлалъ? Я вообразилъ, что эта собака взбѣсилась и хочетъ разорвать ребенка! а это разумное животное спасло дитя и вырвало его изъ загорѣвшейся люльки! По вашему, развѣ это не разумъ?

Ученые долго спорили, лаская меня, и я пожалѣла, что мать не видитъ меня въ такую торжественную минуту. Это доставило бы ей громадное удовольствіе!

Затѣмъ они забыли про меня и стали спорить объ оптикѣ (кажется они такъ сказали)—одинъ доказывалъ, что извѣстное пораженіе въ мозгу производитъ слѣпоту; другіе оспаривали это мнѣніе; чтобы рѣшить вопросъ, интересовавшій ихъ, они рѣшили сдѣлать опытъ, затѣмъ, они стали толковать о растеніяхъ, и это сильно обрадовало меня. Мы съ Сади, весной, сѣяли сѣмена, я помогала ей копать ямки, а затѣмъ, прошло много, много дней и вышли росточки. Я жалѣла. что не умѣю говорить и не могу имъ разсказать объ этомъ чудѣ.

Но они снова вернулись къ оптикѣ, мнѣ стало скучно и я заснула.

Настала весна, солнышко засіяло-цвѣты зацвѣли. Мама и дѣти приласкали, поцѣловали меня и щенка и уѣхали куда то въ гости. Хозяинъ былъ намъ не товарищъ, мы не обращали на него никакого вниманія, и бѣгали съ щенкомъ по цѣлымъ днямъ по саду. Прислуга любила и баловала насъ, намъ жилось хорошо и беззаботно; но все таки было скучно безъ моихъ дорогихъ дѣтокъ и я не могла дождаться ихъ возвращенія

Какъ то, вечеромъ, собрались ученые друзья хозяина, чтобы сдѣлать опытъ. Щенка моего взяли въ лабораторію и я заковыляла вслѣдъ за нимъ. Гордость наполнила мнѣ сердце, мой щенокъ въ такой чести! они долго говорили, держа его въ рукахъ, что-то показывали, — вдругъ мой щенокъ закричалъ, они посадили его на полъ, кровь текла по его крупной головкѣ.

— Что я вамъ говорилъ? закричалъ хозяинъ, хлопая въ ладоши; онъ совершенно ослѣпъ! какъ летучая мышь!

И они всѣ въ одинъ голосъ отвѣчали:

—Да, вы правы, онъ ослѣпъ! вы доказали на фактѣ вашу теорію, человѣчество должно быть вамъ безконечно благодарно за ваше открытіе!

Всѣ подошли къ нему и стали пожимать ему руки, но все это прошло мимо моихъ ушей, я кинулась къ моему щеночку, и, прижавшись къ нему, стала лизать его ранку; онъ тихо завизжалъ и положилъ головку ко мнѣ на шею... Я знала, что ему были пріятны мои ласки... Но вдругъ головка его соскользнула на полъ, онъ пересталъ визжать, уткнулся носомъ землю и —вытянулъ лапки...

Хозяинъ взглянулъ на щеночка и позвонилъ; когда пришелъ лакей, онъ сказалъ указывая на мое дитя:

— Закопай его въ дальнемъ углу въ саду, и какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ свой ученый разговоръ. Я поплелась за лакеемъ, державшимъ моего щеночка на рукахъ. Я была довольна, онъ пересталъ страдать, не визжалъ; ему было лучше... онъ сладко заснулъ. Мы ушли въ самый конецъ сада, куда мы часто забирались съ Сади, Бэби и щенкомъ, и гдѣ мы часто играли подъ тѣнью старой ивы. Лакей вырылъ ямку и я видѣла, что онъ собирается посадить моего щенка, какъ мы сажали сѣмена вмѣстѣ съ Сади. Меня это страшно обрадовало, я поняла, что мой щенокъ выростетъ, какъ растеніе, изъ земли, и станетъ красивой, взрослой собакой, какъ его отецъ Робинъ Адэръ! Какъ обрадуются дѣти, когда они вернутся домой и застанутъ большого Робина вмѣсто круглаго шарика.

Я хотѣла помочь ему копать, но ничего не могла подѣлать съ своей хромой ногой! Когда лакей закопалъ маленькаго Робина и покрылъ его землей, онъ сталъ, молча, гладить меня по спинѣ, слезы навернулись у него на глаза.

Бѣдная собака! сказалъ онъ [illegible] меня по головѣ, ты спасла [illegible]

Дозв.

ка, а они... какъ они отплатили тебѣ??

Я слѣдила цѣлыхъ двѣ недѣли за мѣстомъ, гдѣ закопали щеночка, онъ все не показывался! на третьей недѣлѣ страхъ обуялъ меня! что то ужасное произошло! не могу понять, что случилось, но мнѣ становится тяжело —я не могу ѣсть, несмотря на то, что слуги приносятъ мнѣ самыя изысканныя блюда! Они меня такъ ласкаютъ, такъ возятся со мной! даже ночью они приходятъ ко мнѣ и говорятъ: Бѣдная собачка! брось это все, иди домой, ты терзаешь намъ душу! меня все это страшитъ, что то ужасное произошло несомнѣнно! Я очень слаба! со вчерашняго дня я не могу стоять на ногахъ. Слуги окружаютъ меняи, смотря на закатъ солнца, говорили слова, которыхъ я не могла понять, но отъ которыхъ у меня сердце похолодѣло.

—Несчастныя дѣти!—говорили слуги, они ничего не подозрѣваютъ. Завтра утромъ они пріѣдутъ и станутъ требовать свою дорогую собачку, которая свершила подвигъ! кто изъ насъ рѣшится сказать имъ правду? Кто скажетъ: вашъ скромный, маленькій другъ отправился туда, куда отправляются всѣ животныя, даже тѣ, которыя благороднѣе и лучше людей.

Э.

Первый побѣгъ.

I.

Маленькаго роста, сухой, но жилистый фельдфебель 16 роты N—скаго пѣхотнаго полка Деминъ, въ сопровожденіи дежурнаго по ротѣ проворно обходилъ казармы послѣ повѣрки.

Огни были притушены. Солдаты, утомленные предпраздничной сутолокой, улеглись рано.

Въ помѣщеніи каждаго взвода Деминъ подозрительнымъ взглядомъ окидывалъ закутанныя въ красныя шерстяныя одѣяла тѣла спавшихъ солдатъ и расширенными ноздрями глубоко втягивалъ въ себя воздухъ: онъ видѣлъ, что послѣ обѣда въ казармахъ была Сура, торговавшая открыто—бѣлымъ хлѣбомъ и тайно—водкой, искусно скрываемой въ тайникахъ излохмаченныхъ грязныхъ юбокъ. Но въ казармахъ, кромѣ обыкновеннаго въ нихъ остраго характернаго запаха, ничего другого не было замѣтно. Всѣ солдаты были на мѣстахъ и мирно почивали.

Слышалось ихъ легкое посапываніе и храпъ и тоскливое завываніе вѣтра въ трубахъ. Да иногда тучи снѣга, со свистомъ налетавшія на стѣны казармы, царапались въ замерзшія окна.

Окончивъ обходъ, Деминъ вышелъ на дворъ. Старый сосновый боръ, на опушкѣ котораго была расположена ничѣмъ не огороженная казарма, глухо и мощно шумѣлъ. Вѣтеръ забивалъ дыханіе и больно обжигалъ лицо сухими и острыми, какъ песокъ, снѣжинками.

Рота помѣщалась въ деревянномъ зданіи, въ которомъ когда то жила многочисленная дворня ясневельможнаго польскаго помѣщика. Теперь въ его полуразрушенномъ каменномъ палаццо обиталъ невзрачный арендаторъ; въ обширныхъ конюшняхъ вмѣсто ржанія кровныхъ рысаковъ—сдышалась болтовня индѣекъ.

Ротный командиръ занималъ домъ, въ которомъ, по сказаніямъ, нѣкогда жилъ «панъ-управитель».

Всѣ постройки были прочныя, хозяйственныя. Видно было по всему, что встарь здѣсь жилось иначе. Объ этомъ какъ будто шептали и стройныя сосны, всегда такъ грустно покачивавшія зелеными вершинами надъ головами молодыхъ солдатъ, когда тѣ, прижавъ руки къ груди, бѣгали ровной шеренгой по широкой просѣкѣ, а ихъ учитель въ это время пританцовывалъ на мѣстѣ, и хлопая себя ладонями по бедрамъ, выкрикивалъ:

— Разъ, два, три, четыре!... Разъ, два три, четыре!...

— Вжи, вжи, вжи, вжи!—выкрикивалъ снѣгъ подъ сапогами Демина, который теперь спрятавъ шею въ воротникъ шинели, и прижавъ руки къ груди, молодцевато бѣжалъ подгоняемый вѣтромъ, къ ярко освѣщенной квартирѣ ротнаго, чтобы отрапортовать о томъ, что

— «Въ 16 ротѣ все обстоитъ благополучно»...

II.

Полночь. Въ помѣщеніи перваго взвода тихо и жарко. Вѣтеръ,повидимому, утихаетъ потому что завываніе его въ трубѣ прекратилось. Только печная заслонка повременамъ принимается тихонько дребезжать, жалуясь на все усиливающійся холодъ.

Солдаты спятъ мертвымъ сномъ уставшей молодости. Сонъ, какъ будто одолѣваетъ и огонекъ притушенной лампы; язычекъ ея пламени то увеличивается, то падаетъ и, кажется, зѣвая, борется съ дремотой...

На нарахъ съ самаго краю спитъ молодой солдатъ, латышъ Вацетъ.

Рядомъ съ нимъ, выставивъ изъ-подъ одѣяла рыжую бородку, лежитъ на спинѣ еврей Шлемензонъ. У него ноютъ ноги въ колѣнахъ.

Дальше виденъ крутой затылокъ спящаго на боку правофланговаго Дерюгина, любимца фельдфебеля и дядекъ. Этотъ спитъ безаботно, какъ дитя. Круглое, мыловидное лицо его спокойно. Если его растолкать,—онъ и спросонья не сумѣетъ разсердиться, а взглянетъ красивыми, бархатными глазами такъ же кротко, какъ кротко онъ глядитъ на учителя, когда тотъ, любуясь его плотной и стройной фигурой и нѣжась подъ его ласковымъ взглядомъ, говоритъ:

— Ну-ка, Дерюгинъ, скажи, какъ ты на войнѣ съ непріятелемъ долженъ поступать, ежели онъ на тебя наскочитъ?

— Перваго пристрѣлю, второго — заколю, третьему—штыкомъ карачунъ! весело, всѣмъ лицомъ улыбаясь, отвѣчаетъ Дерюгинъ.

— Этта вѣрна!—смѣется дядька: отъ тебя станется. А винтовку за штыкъ поднимешь?

— Такъ точно, дяденька!

И всѣмъ пріятно вслушиваться въ этотъ звонкій, беззаботный голосъ...

Дальше виднѣются только темные силуэты спящихъ.

У дверей на стѣнѣ висятъ шинели старыхъ солдатъ и коротенькіе полушубки новобранцевъ, а ближе къ печкѣ въ пирамидѣ горятъ зловѣщимъ и тусклымъ, какъ взоръ сумасшедшаго, блескомъ ярко вычищенные стволы винтовокъ.

III.

— Онисимовъ!

— Я, дяденька!—крикнулъ онъ и, проснувшись, высунулъ голову изъ-подъ одѣяла.

Никакого дяденьки нѣтъ подлѣ него, никто его не звалъ, а просто ему пришло время вставать, какъ это имъ было твердо рѣшено еще вчера.

Съ вечера онъ долго боролся со сномъ, но—напрасно. Постель была тепла, уставшіе члены просили покоя,—и онъ впалъ въ тревожное забытье.

Въ туманѣ этого забытья предъ нимъ проносились различныя видѣнія: грустное, съ заплаканными глазами, лицо матери появлялось рядомъ съ суровымъ лицомъ фельдфебеля. Мать и фельдфебель о чемъ то громко спорили. Споръ перешелъ въ крикъ, а потомъ все стихло. Послышался мягкій шумъ. Это онъ, Онисимовъ, идетъ улицей родного села и входитъ въ большой густой боръ—и этотъ боръ шумитъ. И вдругъ изъ-за деревьевъ показывается ротный барабанщикъ, чернобородый еврей Заяцъ, и начинаетъ выбивать «бѣгомъ».

— Трахъ-тахъ-тахъ-тахъ! рокочетъ барабанъ. Онисимову хочется скрыться какъ нибудь отъ этого гула,и онъ, сдерживая дыханіе и съежившись, прячется въ кустъ, но топотъ бѣгущей роты и бой барабана все ближе, ближе, и, наконецъ, слышится команда:

— «Рот-т-та, стой»!

— Онъ здѣсь гдѣ-то! говоритъ затѣмъ дядька, раздвигаетъ вѣтки куста и зоветъ:

— Онисимовъ!

И Онисимовъ не можетъ удержаться, чтобы не крикнуть:

— Я, дяденька!

И просыпается.

Тихо. Всѣ спятъ. Вздрагиваетъ заслонка. Свѣтъ лампы то оживаетъ, пробѣгая по бѣлому потолку, то снова падаетъ, и тогда тьма заволакиваетъ и потолокъ, и всю казарму...

Неслышно, стараясь не шумѣть соломою тюфяка, поднялся Онисимовъ и сѣлъ, потомъ тихонько сснулся съ наръ, захватилъ сапоги и, мягко ступая въ шерстяныхъ чулкахъ, подошелъ къ вѣшалкѣ и остановился.

Сердце билось такъ сильно, что, казалось, стукъ его могъ разбудить спавшихъ.

Но вотъ полушубокъ на плечахъ; дверная скобка чуть брякнула подъ осторожной рукой—и Онисимовъ вынырнулъ въ сѣни.

Со двора въ пріотворенную дверь сѣней съ сухимъ шуршаньемъ сыпался снѣгъ. Темная пасть морозной мглистой ночи дышала холодомъ. Вверху тусклыми пятнами бѣлѣли звѣзды.

Порывы вѣтра превратились; онъ теперь непрерывной волной катился по верхушкамъ сосенъ, и сосны тоскливо шумѣли...

Онисимовъ быстро шелъ по дорогѣ, не отдавая отчета—куда, но чувствуя, что по мѣрѣ удаленія отъ казармы, у него на сердцѣ становится все спокойнѣе и спокойнѣе.

И это было спокойствіе отчаянія, съ какимъ идетъ ко дну потерявшій силы пловецъ. А одинокіе шаги убѣжавшаго солдата говорили:

Вжи-вживъ-живъ-живъ...

IV.

Первый взводъ проснулся. Слышалось шарканье сапожныхъ штыковъ. Осторожный и сдержанный говоръ молодыхъ солдатъ покрывался самодовольнымъ покрикиваніемъ взводнаго, еще сидѣвшаго, закутавшись въ одѣяло, на тюфякѣ и ожидавшаго, пока красный отъ старанія молодой солдатъ «наведетъ блескъ» на его праздничные сапоги.

— Ну, живѣй, не копайся!... Поляковъ, маршъ за чаемъ!... Двери, затворяйте—казарму выстудите!—гремѣли приказанія взводнаго.

Въ запушенныя окна вливался багровый свѣтъ восходившаго солнца. Морозъ крѣпчалъ, и когда снаружи мимо оконъ пробѣгали солдаты,—въ казармѣ гудѣло.

Взводный, одѣвшись и напившись чаю, приказалъ растопить плиту и принялся готовить похлебку. Дрова весело трещали, и уже вкусный запахъ варившейся свинины, луку и перцу щекоталъ ноздри и вызывалъ обильную слюну у молодыхъ солдатъ, жевавшихъ черствый хлѣбъ, какъ вдругъ дверь казармы распахнулась, кто то изъ солдатъ крикнулъ «встать»! и у плиты очутилась низенькая фигура Демина.

Лицо его было красно и сурово, ноздри тонкаго носа расширены.

Секунда—и всѣ солдаты разинули рты; произошло то, чего никто изъ нихъ не ожидалъ: рѣзкимъ движеніемъ руки Деминъ опрокинулъ на покраснѣвшую плиту кастрюлю съ похлебкой, и одновременно съ шипѣніемъ разлитой похлебки послышался его задыхающійся, шипящій голосъ:

— Онисимовъ... гдѣ у тебя Онисимовъ, а?.. поблѣднѣлъ и качнулся въ сторону.

— Бѣжалъ?!.. а ты... ты чего смотрѣлъ?..

Взводный молчалъ. Его побѣлѣвшія губы и пальцы вытянутыхъ по швамъ рукъ дрожали.

— Срамъ! Что я ротному скажу? продолжалъ волноваться Деминъ.

Затѣмъ онъ ушелъ доложить о происшествіи ротному, а взводный долго стоялъ у плиты, смотрѣлъ тупымъ взглядомъ на потухшіе угли, и вся его фигура, раньше такая самоувѣренная, теперь была жалка и пришиблена.

На молодыхъ солдатъ вѣсть о побѣгѣ Онисимова не произвела особеннаго впечатѣнія; она только возбудила у нихъ любопытство: поймаютъ или не поймаютъ, и что будетъ, если поймаютъ?

— Далече ужъ онъ теперь! Маршируетъ себѣ—и горя ему мало!

— За то, братъ, ежели споймаютъ—держись... тюрьма!..

— А какъ это фельдфебель дознался?

— Да, сказываютъ, ѣхалъ каптенармусъ изъ Пултуска,—за сѣномъ, что-ли, ротный посылалъ.—ну, смотритъ, идетъ Онисимовъ. Какъ увидалъ каптенармуса—бросился въ лѣсъ бѣжать. Каптенармусъ за нимъ,—но не догналъ....

— Бѣдовое дѣло!..

И всѣ безпрерывно посматривали на осиротѣвшую постель Онисимова, какъ бы отъ нея желая узнать, что побудило ихъ товарищарѣшиться на такой ужасный, строго наказываемый, проступокъ?...

V.

Сытая ротная лошадь бѣжала крупною рысью. Въ саняхъ сидѣли закутанные въ башлыки Луневъ,—такъ звали взводнаго перваго взвода,—и конюхъ Ерохинъ.

Дорога шла лѣсомъ. Вершины вѣковыхъ сосенъ плавно покачивались и шумѣ ихъ долеталъ внизъ заунывнымъ шипѣніемъ. Красные снизу и желтые къ верхушкамъ могучіе стволы плотною, казалось, кирпичною стѣною облегали дорогу съ обѣихъ сторонъ, нигдѣ не давая просвѣту. И дорога, какъ заблудившійся человѣкъ, потерявъ надежду выбраться когда нибудь изъ этой томящей тишины на просторъ, то шла прямо, струной, то извивалась ужомъ, то вдругъ останавливалась и дѣлала, какъ бы отчаянный прыжокъ, крутой поворотъ въ сторону... А тамъ опять та же стѣна по бокамъ, тотъ же тоскливый шумъ вверху...

— Ну, праздничекъ выдался! недовольно проговорилъ Луневъ, засовывая поглубже руки въ рукава полушубка. То есть попадись онъ мнѣ сейчасъ въ руки—живого мѣста не оставлю... Потому—не подводи другихъ... Какъ же, пришелъ въ роту—человѣкъ человѣкомъ. Все, какъ слѣдуетъ... Поди, узнай, что тамъ у него въ душѣ написано. Ротный серчалъ: «какъ—говоритъ—ты солдатъ обучаешь, ежели они у тебя святости присяги не понимаютъ»... Да развѣ этому научишь, коли у человѣка совѣсти нѣтъ? Нѣтъ, братъ, этому не научишь... Ты каптенармуса Филонова зналъ?

— Филонова?—такъ точно, зналъ: это, который въ 14 ротѣ?

— Ну, вотъ. Унтеръ-церъ былъ, на вторительной, а тоже на присягу не посмотрѣлъ —цехаузъ обработалъ за мое почтеніе... Попался, судили, въ тюрьмѣ отсидѣлъ. А теперь, сказываютъ, дома то, въ деревнѣ, кабакъ открылъ, постоялый содержитъ... на казенныя то денежки... А то присяга! Какая присяга—разъ совѣсти у человѣка нѣту...

— Это такъ точно... сказалъ Ерохинъ. Только я, господинъ взводный, за первый побѣгъ молодыхъ солдатъ строго не судилъ бы...

— А что же цѣловался бы, поди, съ ними?

— Зачѣмъ цѣловаться! нѣтъ, я бы только по человѣчеству съ ними обходился. Какъ вспомню про свое, когда я былъ молодымъ солдатомъ.. Прошлое дѣло, а я самъ вотъ такъ то бѣжать думалъ... Тоска нашла такая—и не говори—смерть,одно слово. Ну, смѣлости у меня тогда не хватило. Думалъ, огласка пойдетъ: дома узнаютъ... Тпрр... Зайдемъ, господинъ взводный, обогрѣемся, по стаканчику выпьемъ съ морозу?..

Предъ ними была корчма, низенькая, полузанесенная снѣгомъ. На дорогѣ дрогло нѣсколько съежившихся отъ холоду лошадей. Ерохинъ отпустилъ надсѣдельникъ, бросилъ лошади сѣна и, укрывъ ее попоной, вмѣстѣ со взводнымъ вошелъ въ темныя сѣни, а оттуда—въ корчму.

Тамъ, у окна на лавкѣ сидѣлъ, опустивъ голову на грудь, Онисимовъ и спалъ сномъ праведника.

Луневъ остолбенѣлъ отъ неожиданности. Потомъ, приня въ себя, двинулся къ Онисимову.

— Онисимовъ! гаркнулъ Луневъ.

— Я, дяденька!—схватился тотъ съ мѣста—и все понялъ. Такъ было и во снѣ...

VI.

Онисимова судили. Ротный, фельдфебель, учитель молодыхъ солдатъ—всѣ хвалили Онисимова и говорили, что никакъ не могутъ понять его поступка. Да и отъ самого Онисимова судъ добился весьма немногаго.

— Признаешь себя виновнымъ въ побѣгѣ? спрашивали его.

— Такъ точно, виноватъ.

— Почему же ты бѣжалъ?

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе...

И сколько ни допытывался судъ,—на всѣ вопросы Онисимовъ отвѣчалъ одно:

— Не могу знать!

Потому что онъ, дѣйствительно, не зналъ, какая сила потянула его изъ теплой и душной казармы на морозный свѣжій воздухъ...

Мѣсяцъ спустя Онисимовъ, немного исхудавшій и поблѣднѣвшій, вернулся изъ тюрьмы въ роту. И все пошло по старому. Только иногда дядька съ усмѣшкою спраши валъ:

— Онисимовъ, скажи, какъ наказывается солдатъ, совершившій первый побѣгъ?

И Онисимовъ съ краскою стыда на смущенномъ лицѣ поднимался съ мѣста и отвѣчалъ ясно и громко, а по его щекамъ въ это время катились свѣтлыя крупныя слезы...

Е. Н. Любичъ.

Безъ мѣщанства.

Валеріанъ Петровичъ Панталоновъ, сотрудникъ столичной газеты «Бѣдная Мысль», сердито расхаживалъ по столовой своей небольшой, но уютной квартиры.

Въ столовой онъ находился потому, что онъ былъ голоденъ и нетерпѣливо ожидалъ прибытія своей жены, долго заставлявшей себя ждать къ обѣду.

— Куда это она все ходитъ и какъ разъ въ обѣденное время?—скользнула по его мозгу досадливая мысль, какъ ласточка, низко рѣющая надъ сонной рѣкой.

— Ничего не подѣлаешь: ея «право»,—промелькнула въ отвѣтъ другая мысль...

Красивое, обрамленное клинообразной русской бородкой, лицо Валеріана Петровича было серьезно; на молодомъ его лбу появились морщинки. Трудно было сразу разобрать, сердится онъ или чѣмъ нибудь озабоченъ.

Пропорціонально чувству голода, росло въ немъ нетерпѣніе.

— Неужели,—думалъ онъ,—я ошибся въ Олѣ? неужели всѣ эти ея капризы и затѣи —не больше, какъ жалкіе плоды провинціализма, и провинціализма дурного тона?... Если такъ, то столкновенія, и столкновенія серьезныя—у насъ не избѣжны. Вездѣ и всюду ей чудится мѣщанство... Это, наконецъ, начинаетъ меня выводить изъ себя. Приходится задумываться надъ каждымъ словомъ, надъ каждымъ жестомъ, чтобы избѣгнуть ея замѣчаній и упрековъ въ мѣщанствѣ. Это, наконецъ, не жизнь, а чертъ знаетъ что такое!...

Валеріанъ Петровичъ еще быстрѣе заходилъ по комнатѣ, говоря вслухъ:

— Это насиліе, терроръ!...

Онъ остановился посреди почти пустой комнаты съ обстановкой, напоминающей дач-

Нижегородская ГУБЕРНСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ную, оглянувъ все кругомъ, пожалъ плечами и плюнулъ съ досадой.

— Обстановка сумасшедшаго дома!—сказалъ онъ, разсуждая самъ съ собой.—Лампы надъ столомъ не надо—«мѣщанство!» буфетнаго шкафа не смѣй покупать тоже мѣщанство; гардинъ на окнахъ—Боже сохрани!... Добро-бы, если-бы тутъ было проявленіе утонченнаго художественнаго вкуса или идейной скромности. А то ничего подобнаго: одно лишь оригинальничанье и модничанье... какое-то болѣзненное бѣгство отъ мѣщанства... Какъ будто вся суть въ этой внѣшней декоративной обстановкѣ; какъ будто нельзя быть прекраснымъ мѣщаниномъ въ «немѣщанской» обстановкѣ, или наоборотъ...

Панталоновъ подошелъ къ окну, выходившему на улицу, и сталъ смотрѣть на прохожихъ.

— Чертъ знаетъ, что за маскарадъ такой!—воскликнулъ онъ, оглядывая проходившихъ дамъ.—Какіе сумасшедшіе, крикливые цвѣта, какіе вульгарные наряды, какое кривленье, какія ужимки!...

Но въ этотъ моментъ Панталоновъ почувствовалъ, какъ будто кто-то шепнулъ ему на ухо:

— Не ты-ли, милый, самъ, своими дурацкими проповѣдями индивидуализма, декадентства и сверхчеловѣчества, создалъ всю эту скоморошескую атмосферу, не ты-ли самъ такъ воспиталъ и свою молодую жену?...

И, точно убѣгая отъ самого себя, Панталоновъ ушелъ въ дальній уголъ комнаты, сѣлъ и предался воспоминаніямъ.

Первымъ долгомъ онъ вспомнилъ, какъ онъ женился «по случаю», какъ говорятъ въ объявленіяхъ о продажѣ старой мебели.

Впрочемъ, это было-бы не точно: не женитьба его была по случаю, а любовь... Женитьба уже была неизбѣжнымъ и логическимъ слѣдствіемъ...

А любовь его, дѣйствительно, была случайною. Она ворвалась въ его сердце неожиданно, водворилась тамъ насильно и заставила себя почувствовать, развить и дѣлать.

А произошло это довольно оригинально.

Какая то Ольга Александровна, усердная читательница и рьяная «поклонница таланта» Панталонова, стала ему писать письма изъ провинціи!

Хотя ему писали письма многія барышни и дамы, спрашивавшія у него совѣта, какъ быть, какъ мыслить, какъ жить и т. п.; но Ольга Александровна обратила на себя его особенное вниманіе, и онъ ей сталъ отвѣчать, иногда письмами же, а иногда въ фельетонахъ, гдѣ подробно и старательно разбиралъ затронутые ею вопросы.

Дальше—больше. Переписка ихъ участилась, незамѣтно приняла дружескій тонъ, вскорѣ принявшій нѣжный оттѣнокъ и, наконецъ, тонъ этотъ сдѣлался вполнѣ интимнымъ.

Но тутъ произошло у нихъ первое свиданіе, рѣшившее ихъ судьбу.

Ольга Александровна оказалась 20-лѣтней красавицей, не растратившей, подобно многимъ своимъ сверстницамъ, ни своей красоты, ни своей души на мелкія побѣды. Она была на рѣдкость серьезной дѣвушкой и не гонялась ни за свѣтской мишурой ни за мелкими цвѣтами удовольствій и прочихъ жизненныхъ благъ.

Панталонова она любила раньше, чѣмъ она его увидѣла, любила платонически—за его талантъ, за умъ, за идеи, а когда она его увидѣла и побесѣдовала съ нимъ лично, то ея любовь приняла «общежитейскую форму» (это ея слова). Потомъ она вскорѣ заставила его полюбить и себя... И онъ влюбился, какъ школьникъ и женился, какъ... мѣщанинъ...

Онъ ее, конечно, любилъ и теперь любитъ, какъ любви и уваженія достойную жену; но... гармонія между ними только наружная. И это извѣстно только ему одному.

И вотъ почему.

Онъ былъ индивидуалистомъ лишь по своей литературной маркѣ; онъ проводилъ въ своихъ фельетонахъ тѣ новыя идеи, на которыя въ публикѣ былъ спросъ и которыя сохранили за «Блѣдной Мыслью» упроченную за нею славу газеты прогрессивной, не отстающей ни на шагъ отъ теченія времени. Онъ безпощадно наносилъ свои мѣткіе и смертельные удары мѣщанству, налагающему де узду на человѣческое счастье и требовалъ абсолютной свободы личности въ семьѣ и въ обществѣ и т. д. Но въ душѣ и въ жизни онъ былъ довольно далекъ отъ всего того, что онъ проповѣдывалъ.

Конечно, онъ въ этомъ не признавался Ольгѣ Александровнѣ, которая своимъ непосредственнымъ, сильно чувствующимъ сердцемъ восприняла новое ученіе, какъ откровеніе, прониклась имъ и горѣла одною мыслью, одной заѣтной мечтой — устроить свою жизнь «безъ мѣщанства».

И если открыто онъ ее одобрялъ и поощрялъ, то въ душѣ онъ чувствовалъ себя весьма неловко отъ этой ея фанатичной вѣры въ непогрѣшимость этого ученія, потому что она педантично проводила свои взгляды въ жизнь и суевѣрно избѣгала всего, что напоминаетъ собою мѣщанство.

Кромѣ того, къ своей неукротимой мѣщанофобіи, Ольга Александровна обладала сильно развитымъ эстетическимъ чувствомъ, а также сравнительно большой дозой нервозности. Все это вмѣстѣ взятое дѣлало Ольгу Александровну нетерпимою къ людямъ, поступки и даже манеры которыхъ вызывали у нея представленіе о мѣщанствѣ.

И самъ Валеріанъ Петровичъ принадлежалъ къ такимъ людямъ. Онъ, напримѣръ, имѣлъ невинную привычку безсознательно поглаживать свою бородку или покручивать усы. Ольгу Александровну это страшно раздражало, и она ему постоянно дѣлала замѣчанія. Сначала онъ смѣялся надъ этимъ и, конечно, сейчасъ же переставалъ гладить бороду. Но такъ какъ привычка эта слишкомъ вкоренилась у него и онъ никакъ не могъ отъ этого отвыкнуть, то вѣчныя напоминанія Ольги Александровны и сдѣлали его раздражительнымъ и нервнымъ, и какъ только Ольга Александровна бывало скажетъ:

— Валеріанъ, ты опять!...

Онъ тотчасъ издрагиваетъ, быстро отдергиваетъ руку и молча начинаетъ хмуриться, а черезъ минуту повторяется та же исторія. Протестовать противъ этой назойливости онъ не рѣшался, потому что въ сущности она была права (онъ это сознавалъ), а кромѣ того, пришлось бы выслушать цѣлую лекцію о «мѣщанскомъ воспитаніи, оставляющемъ неизгладимые слѣды на всю жизнь» и т. д., и т. д.

И онъ терпѣлъ, во избѣжаніе «мѣщанскихъ дрязгъ и ссоръ»...

Сложнѣе обстояло дѣло съ товарищами Панталонова по редакціи, которые, въ первое время послѣ его свадьбы, очень часто его навѣщали.

Ихъ было три человѣка: злобистъ Жучекъ, беллетристъ Ландышевъ и поэтъ Мурлыкинъ.

Это былъ все народъ молодой, живой, жизнерадостный. И появленіе этихъ славныхъ малыхъ въ домѣ Панталоновыхъ всегда вносило въ жизнь молодоженовъ оживленіе и веселье.

Къ несчастію, наблюдательная Ольга Александровна подмѣтила въ каждомъ изъ этихъ молодцовъ какіе нибудь незначительные изъяны, которые она не преминула приписать своему излюбленному мѣщанству. И этого было совершенно достаточно для того, чтобы она ихъ не взлюбила.

Такъ: злобистъ имѣлъ привычку постоянно подпѣвать себѣ въ носъ все одинъ и тотъ же отрывокъ изъ какой нибудь пѣсенки, и пѣлъ онъ, дѣйствительно, отвратительнымъ полубасомъ, и пѣлъ фальшиво и гнусно, такъ что казалось, будто корова мычитъ.

Беллетристъ любилъ барабанить пальцами по столу. А любимымъ занятіемъ поэта было—вращать толстые пальцы обѣихъ рукъ одинъ вокругъ другого, образуя такимъ образомъ нѣчто въ родѣ perpetuum mobile...

Все это въ сильнѣйшей степени раздражало Ольгу Александровну, и она выходила изъ себя.

Въ первое время она сдерживалась и только по уходѣ гостей жаловалась мужу, что ей трудно переносить эти «мѣщанскія замашки», а потомъ, когда они познакомились ближе, она имъ безъ стѣсненія стала дѣлать такія же замѣчанія, какъ и мужу. А когда они не обращали вниманія и продолжали дѣлать свое дѣло, она начала уходить изъ дома, какъ только коллеги Панталонова появлялись.

Кончилось тѣмъ, что всѣ эти трое «мѣщанъ» перестали бывать у своего товарища.

Вспоминая все это теперь, Валеріанъ Петровичъ сталъ яростно шагать по комнатѣ взадъ и впередъ, точно собираясь къ нападенію на кого то.

Нѣтъ,—рѣшилъ онъ,—дальше это продолжаться не можетъ! Сегодня онъ поговоритъ съ ней серьезно... Онъ ей скажетъ:

— Милая моя дѣточка, ты и всѣ мы, пишущіе и проповѣдывающіе противъ мѣщанства, ошибаемся. Невозможно совершенно обойтись въ жизни безъ того, что принято называть мѣщанствомъ, какъ немыслимо жить на свѣтѣ одной голой правдой... Тотъ, кто сталъ бы говорить всѣмъ голую правду, въ два—три дня попалъ бы въ сумасшедшій домъ или въ каторгу... Такъ и съ такимъ «мѣщанствомъ»: нельзя всякому поступку, всякому выраженію и движенію придавать оттѣнокъ чего то неземного, небывалаго; въ чемъ не было бы и слѣдовъ шаблона, традиціи, обычая, словомъ,—мѣщанства... Наконецъ, нѣтъ рѣшительно никакой возможности уберечься отъ мѣщанства, потому что нѣтъ той строгой грани, которая ясно отдѣляла бы мѣщанство отъ «дворянства», что ли?.. Прямо до смѣшного доходить, если не до маніи... Изъ за призрака мѣщанства я долженъ отказываться отъ своихъ индивидуальныхъ особенностей, привычекъ и понятій, и по шаблонному рецепту втиснуть себя, всю свою жизнь, всѣ свои помыслы и желанія—въ душащій хоръ кривляющейся современности! Нѣтъ, я на такое самоистязаніе, самоуродованіе не пойду!.. Было время, когда мы не занимались пустяками, внѣшними эффектами; было время, когда мы съ доброжелательной снисходительностью относились ко всему честному, правдивому и благородному, какой бы идейной марки оно ни было, какую бы внѣшнюю оболочку оно ни носило. И время то было лучшее. Тогда не было того насилія, что теперь. Тогда не требовали у всѣхъ именно такого образа мыслей, такого покроя платья, такой прически, такихъ рѣчей и манеръ, потому что люди не были такъ мелочны и эгоистичны. Тогда не плевали на все, что не изящно, не красиво и неловко. Тогда требовали лишь, чтобы духъ былъ возвышенный, нравственный обликъ привлекательный, но внѣшней оболочкой совершенно не интересовались...

Продолжая въ томъ же духѣ сочинять рѣчь, которую онъ будетъ держать Ольгѣ Александровнѣ при первомъ удобномъ случаѣ, Панталоновъ рѣшилъ этимъ начать систематическое перевоспитаніе своей жены, слишкомъ ужъ захваченной бурной волной индивидуализма.

Мысли Панталонова были прерваны появленіемъ горничной Насти, принесшей посуду для обѣда.

Панталоновъ мелькомъ взглянулъ на нее и остановился, удивленный.

— Какая прелестная мордочка!—подумалъ онъ, прогоняя слѣдовавшую за этой еще болѣе грѣшную мысль...

А Настя, дѣйствительно, была хороша. Тщательно умытая, съ кокетливо причесанными пышными, свѣтло-русыми волосами и крупнымъ румянымъ лицомъ, съ умными сѣрыми глазами, она, въ свѣтломъ ситцевомъ платьѣ съ короткими до локтей рукавами и въ сверкавшемъ бѣлизной передникѣ, производила впечатлѣніе свѣжаго бутона розы. Отъ ея стройной фигуры вѣяло здоровьемъ и ароматомъ свѣжаго, чистаго женскаго тѣла.

— Что это ты такъ вырядилась Настя?—не выдержавъ, спросилъ Панталоновъ.

Улыбка на его губахъ вышла какою то неестественною, гораздо шире, чѣмъ бы требовалось для такого вопроса, еслибъ онъ былъ заданъ изъ простого любопытства, или даже съ нѣкоторой ироніей.

— Баринъ, вы опять бородку чешете?—укоризненно замѣтила Настя, вмѣсто отвѣта.

— Что такое!—крикнулъ внѣ себя отъ гнѣва Панталоновъ, и всѣ нескромныя мысли на счетъ «аппетитности» Насти мигомъ исчезли.

— Чего вы, баринъ, сердитесь?

— Какъ ты, дурица, смѣешь мнѣ дѣлать подобныя замѣчанія!

— Развѣ я это отъ себя? Барыня мнѣ наказывала: «когда меня дома не будетъ, говорятъ, вы, Катенька, смотрите, чтобы баринъ бородку не чесалъ: привычка, говорятъ, у него такая мѣщанская»—ей Богу, правда!..

Какъ ни былъ Панталоновъ гнѣвенъ и сердитъ, онъ не выдержалъ и разразился гомерическимъ хохотомъ.

— Даже няньку ко мнѣ приставила!—еле выговорилъ онъ, задыхаясь отъ смѣха.

Засмѣялась и Настя, покраснѣвъ до ушей.

— Право, барыня наказывала... Я что!..—оправдывалась она.

Она скорчила невинную гримаску, отчего она вдругъ показалась Панталонову еще «аппетитнѣе» и милѣе.

Злоба Панталонова на Ольгу Александровну ушла куда то далеко, далеко и не хотѣла возвращаться въ его душу, въ которую въ этотъ моментъ нахально лѣзло нѣчто теплое, жуткое, до жгучести пріятное и до обморока страшное.

Ему стоило большихъ усилій сохранить наружное спокойствіе и тѣмъ не выдавать свое внутреннее волненіе, съ каждой секундой все увеличивавшееся.

Продолжая все смѣяться, теперь уже нескреннимъ и нехорошимъ смѣхомъ, Панталоновъ сказалъ.

— Ну, какъ можно быть такой... наивной: барыня приказала!., А если барыня тебѣ прикажетъ... поцѣловать меня?

— Ну, да!..

Она бросила на него долгій вызывающій испытующій взглядъ, стыдливо опустила глаза и, закрывъ ротъ передникомъ, тихо смѣялась.

Въ Валеріанѣ Петровичѣ, человѣкѣ порядочномъ, честномъ и культурномъ, проснулся звѣрь, долго-долго спавшій подъ покровомъ старой нравственности и выброшенной въ сметникъ морали.

Соблазнъ былъ слишкомъ великъ и бѣсъ чересчуръ краснорѣчивъ.

Не отдавая себѣ отчета въ своихъ поступкахъ, Панталоновъ схватилъ Настю за обѣ руки и сильно сжалъ ихъ.

Хотя онъ старался улыбаться, но выраженіе лица у него сдѣлалось чисто звѣриное.

Настю это выраженіе лица повергло въ трепетъ, и она инстинктивно подалась назадъ, стараясь освободить свои руки.

— Пустите, баринъ, больно!—сказала она, учащенно дыша, точно послѣ тяжелой утомительной работы.

Но бѣсъ уже овладѣлъ всѣмъ существомъ Валеріана Петровича, и онъ ужъ себя совсѣмъ не помнилъ.

Обнявъ Настю за талію, онъ прижалъ ее къ себѣ.

— Такъ будешь меня цѣловать, если барыня прикажетъ?—повторилъ онъ вопросъ.

Дѣвушка отвернула лицо въ сторону, инстинктивно спасаясь отъ чего то страшнаго.

— Пустите, баринъ!—взмолилась она, извиваясь въ его рукахъ, какъ боа. Панталоновъ сталъ цѣловать ее въ шею и лицо, которое она тщетно силилась спрятать на его же груди.

— Браво! Браво! Вотъ это я понимаю индивидуализмъ!—весело воскликнула внезапно вошедшая Ольга Александровна.

. . . . . .

Обѣдъ прошелъ съ обычнымъ оживленіемъ. Ольга Александровна имѣла жестокость, не сдѣлавъ мужу ни малѣйшаго упрека по поводу того, что она видѣла, съ присущимъ ей увлеченіемъ и паѳосомъ, разсказывать во время обѣда о разныхъ своихъ впечатлѣніяхъ.

Панталоновъ, уничтоженный, самъ себѣ противный, сидѣлъ, какъ на угольяхъ, уткнувъ лицо въ тарелку, съ нетерпѣніемъ ожидая конца этой пытки.

За сладкимъ, отъ котораго Ольга Александровна отказалась, она самымъ равнодушнымъ тономъ спросила:

— Что тутъ у васъ произошло?

Валеріанъ Петровичъ вздрогнулъ.

— Что произошло вы сами видѣли, а какъ произошло—могу разсказать.

— Ну, это неинтересно.

— Но это, Оля, необходимо для моего оправданія.

— Это безполезно и безцѣльно.

— Но ты сама виновата...

— Я?!. Ахъ, да... Я дѣйствительно виновата: я приняла вашъ языкъ за душу. Я не подозрѣвала, что возвышенныя, вдохновенныя слова можетъ говорить самый недостойный, презрѣнный мѣщанинъ душой!

Это были послѣднія слова Ольги Александровны въ домѣ Валеріана Петровича.

В. Именитовъ.

Редакторъ **Н. П. Цакни.**
Издатель **Г. М. Бейленсонъ.**

S. G. D. G.
ЦВѢТОЧНЫЙ
О-ДЕ-КОЛОНЪ
ВСѢХЪ ЗАПАХОВЪ
PARFUMEURS-SAVONNIERS
BROCARD & Co MOSCOU
ПОСТАВЩИКЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА
ГОСПОДЪ ГЕРЦОГА ЕДИНБУРГСКАГО